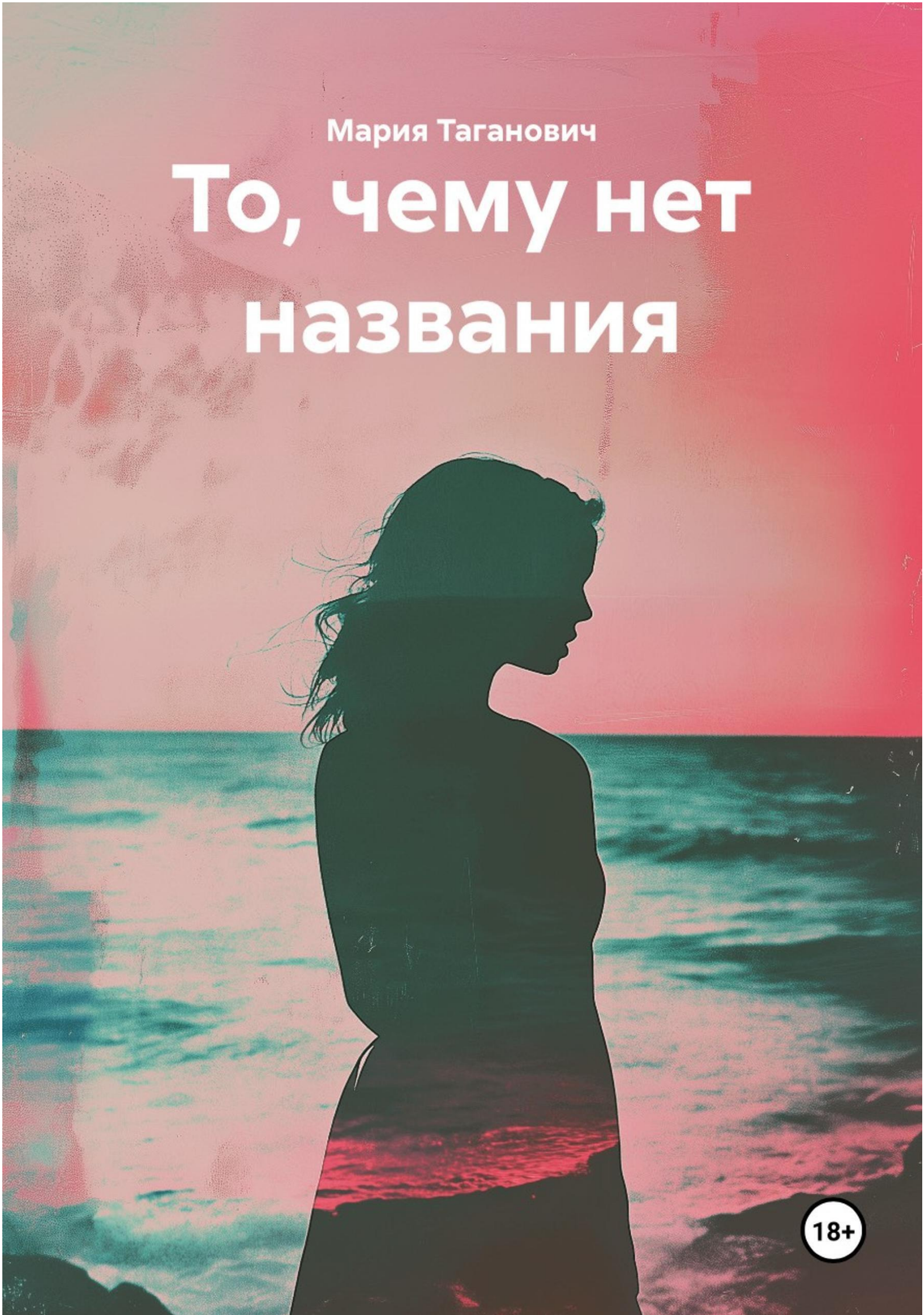
Мария Таганович

То, чему нет названия



18+

Мария Таганович

То, чему нет названия

«Автор»
2026

Таганович М.

То, чему нет названия / М. Таганович — «Автор», 2026

Молодая женщина, привыкшая жить по правилам, строить планы и держать собственные границы, неожиданно оказывается в отношениях с мужчиной, который изначально не обещает ей ничего. Он старше её, женат, имеет семью и устроенную жизнь. Для него их связь существует на периферии — в коротких встречах, звонках, сообщениях и нескольких часах, вырванных из привычного распорядка. Для неё постепенно становится центром внутренней жизни.Их связь становится пространством, где героиня впервые разрешает себе собственную сексуальность и отказывается от образа «хорошей девочки». Одновременно это пространство постепенно стирает её прежнюю идентичность.«То, чему нет названия» — история о границе между любовью и зависимостью, между желанием быть выбранной и способностью выбрать себя. Это роман о том, как человек может потерять себя в ожидании другого — и как, увидев правду без самообмана, начать возвращаться к себе.

© Таганович М., 2026
© Автор, 2026

Мария Таганович
То, чему нет названия

Глава 1. Серый волк

Первое впечатление всегда обманчиво. Я повторяла эту фразу как заклинание, будто, если произнесу её достаточно громко, она станет правдой и убережёт меня. Но оно не было обманчивым — оно было слепым. Я смотрела и не видела. Специалисты называют это Эффектом ореола (halo effect). Если человек сразу производит сильное впечатление (например, харизматичен, уверен в себе), мозг автоматически приписывает ему и другие положительные качества — даже если нет доказательств. В жизни это работает так: человек замечает харизму и «властность» и пропускает тревожные сигналы.

Он был как серый волк — не тот, что бросается из темноты, а тот, что стоит на опушке и ждёт, пока ты сама шагнёшь к нему. Его взгляд был пронзительным: казалось, он добирался до самого дна, где я прятала слабости, и вытаскивал их на свет. От этого взгляда внутри всё сжималось, и эту дрожь я приняла за бабочек в животе. Как же я хотела, чтобы это были бабочки — легкие, красивые, те, что кружатся над цветами и ничего не значат.

Но это была не лёгкость. Скореё холод перед прыжком в ледяную воду. Бабочки в животе — иногда всего лишь адреналин, дёрганый гормон, который кричит: «Опасность!» Но мозг так хочет верить в романтику, что переживает страх в предвкушение. Я чувствовала, как эта дрожь расползается по телу, и думала: «Вот оно, настоящее». А это было просто моё тело, которое ещё не знало, во что я ввязываюсь, и пыталось меня остановить.

Он был плохим королём. Не тем, кто строит и защищает, а тем, кто знает цену власти и привык брать её силой привычки, авторитета и молчания. Он не кричал, не давил — он просто знал, что его слово тяжелеё любого крика. И я чувствовала эту тяжесть: она ложилась мне на плечи, и я думала, что это ответственность за что-то великое. А это была просто тень его власти.

И он был манипулятором. Не тем, кто дёргает за нитки на виду, а тем, кто так тихо и уверенно меняет воздух вокруг тебя, что ты перестаёшь замечать, как тебе становится нечем дышать. Он завораживал не блеском, а знанием. Он знал, как смотреть, как молчать, как сделать паузу такой густой, что в неё хотелось что-то положить — себя, свои мысли, свою душу.

Его внешность вообще не должна была работать. Невысокий, спортивный, с округлым животом, который говорил о спокойных ужинах и отсутствии спешки. Лысый череп, на котором свет ложился странно, подчёркивая скулы, делая его лицо жёстче, чем оно было. Ни капли той глянцевой красоты, которая цепляет на улице. Но его харизма работала безотказно, потому что она была не в симметрии черт, а в том, как он занимал пространство. Он не пытался быть больше, чем он есть, — он просто был. И этого хватало.

От него веяло знанием. Не книжным, не умным, а телесным. Он знал, что такое тело женщины не как объект, а как территория, на которой можно быть бережным или жестоким. Он понимал, что сексуальное влечение — это не вспышка, а течение, и умел управлять им: не бросаться, не торопиться, идти по нарастающей, чтобы ты сама не заметила, как стала ждать его взгляда, его слова, его разрешения чувствовать.

И самое страшное было в том, что он делал всё это спокойно. Без резких движений, без надрыва. Просто шёл вперёд — шаг за шагом, — и каждый его шаг казался крепче любой клятвы. И я шла за ним, потому что его уверенность казалась надёжнеё моей правды.

Я знала, что он как волк — не спаситель, а хищник, который умеет выглядеть благородным. Знала, что волки держатся парой не из романтики, а из расчёта: вместе проще выжить,

удержать территорию. И он точно так же: его брак — это его территория, его крепость, а я — чужая земля, которую он исследует, пробует на вкус, проверяет, где мягче, где податливее.

Он не хотел одной женщины. Ему нужно было покорять. Каждый его комплимент был не признанием, разведкой: он метил границы, чтобы потом их стереть. Сначала — лёгкое касание слов, будто случайно, будто он просто внимательный. Потом — контакт, который уже нельзя назвать случайным. А дальше — те самые разговоры, тягучие и острые, где грань между «слишком» и «ещё чуть-чуть» становилась такой тонкой, что я сама не понимала, где она.

И самое опасное было в том, что он делал это роскошно. Даже его разврат был обернут в бархат: не грубость, а искушенность; не насилие над границами, а приглашение их переступить. Он будто шептал: «Только ты можешь быть такой смелой. Только с тобой я могу быть настоящим». И я верила. Потому что хотелось быть той самой, ради кого он снимает маски — даже если под ними скрывается хищник.

Я видела, как он проверяет мою грань. Чувствовала эти паузы, в которых висел вопрос: «Сколько ты мне позволишь?» И вместо того чтобы сказать «стоп», я сделала шаг вперёд. Не потому что не понимала, что происходит. А потому что в этом падении было что-то пьянящее: я становилась женщиной, которая может удержать такого мужчину, которая ему интересна, которая заставляет его хотеть.

Даже когда внутри всё сжималось от тревоги, я называла это бабочками. Даже когда понимала, что он не собирается ничего менять, что его мир уже устроен, а я в нём — эпизод, я всё равно тянулась к этому свету. Потому что пусть и на мгновение, но я чувствовала себя живой так, как никогда раньше. И эта цена — моя потерянная грань, моё размытое «я» — казалась мне тогда не жертвой, а доказательством, что я чего-то стою.

Он был опасен, хитер, настоящий интриган, ну а я… Кто я?

Раньше я знала ответ на этот вопрос без запинки. Я была той, к кому не подступиться просто так. Яркой, даже ослепительной — и это не тщеславие, а факт: мужчины замирали, когда я входила, но я не давала им шанса. Мне не нужен был мужчина ради того, чтобы просто быть не одной. У меня были цели, дисциплины, работа в лучших отелях, где ты либо держишься на уровне, либо вылетаешь в первый же день. Я ходила по галереям не для фото, а чтобы понимать, чувствовать разницу между настоящим искусством и красивой подделкой. Я училась, работала, ухаживала за собой не ради чужого взгляда, а потому что это был мой стандарт.

И я гордилась этой своей неприступностью. Даже одиночество я носила как броню: «Мне никто не нужен, пока не появится тот, с кем я захочу строить семью». Это было мое правило, моё «нет» на всё, что не ведет к главному.

А потом появился он. Не тот, кто бросается с порога, не тот, кто пытается взять штурмом. Он подошел так тихо, что я не услышала шагов. И он не стал ломать мою броню — он нашёл в ней щель и скользнул внутрь.

После встречи с ним я вдруг поняла, что всё уходит в омут. Мои правила, мои стандарты, моя уверенность — всё стало размываться, как буквы под дождём. И самое страшное было не в том, что правила сломались. А в том, что я сама их отпустила.

У меня проснулось то, что никогда не просыпалось: желание, дикое, жадное, не похожеё ни на что из того, что я раньше называла интересом. Это не было про семью, не было про будущее. Это было про него — про мужчину старше меня на семнадцать лет, у которого есть жена, ребёнок, своя устроенная жизнь, в которой для меня не было места.

Я попала в капкан своих желаний и похоти — и хуже всего было то, что капкан не казался мне ловушкой. В первые дни он ощущался как освобождение: наконец-то я не такая правильная, не такая собранная, не такая «всё по плану». Я позволяла себе хотеть, и это чувство было таким сильным, что заглушало голос разума.

Ночами меня накрывало другое чувство — тяжёлое, липкое; от него в горле стоял ком, который не отпускал. Я лежала в темноте, и тишина в комнате становилась громче любого крика: она высвечивала то, что днём удавалось прятать за делами, встречами, разговорами об искусстве и планах.

Он был где-то там, в своей жизни, с семьёй, с привычным укладом, а я оставалась здесь, наедине с его голосом в голове, с его взглядом, который будто прожигал сквозь стены. И это желание, дикое и упрямое, не хотело быть «красивым» и «достойным». Оно было простым и грубым: мне хотелось, чтобы он был рядом, чтобы касался, чтобы подтверждал, что я существую не как тень на краю его мира, а как что-то важное.

Когда становилось невыносимо, я делала то, что раньше считала почти предательством по отношению к себе: я искала разрядку в себе самой. Не для удовольствия, не ради лёгкого расслабления — а чтобы просто сбросить этот электрический ток, который гудел в теле и не давал дышать. Это было не про нежность. Это было про выживание в собственном напряжении.

И каждый раз после этого ко мне приходил стыд. Не за само действие — за то, что оно не стирало его образ. За то, что, даже получив эту короткую разрядку, я всё равно возвращалась мыслями к нему. Я хотела не просто снять напряжение — я хотела его. И это было горьче всего.

Я, всегда гордившаяся тем, что умею контролировать желания, теперь чувствовала себя пойманной в ловушку собственной плоти. Мое тело знало, чего хочет, даже если разум пытался это отрицать. И в эти ночные минуты я ненавидела и его, и себя: его — за то, что он так легко взломал мои границы, а себя — за то, что я не хотела, чтобы эти границы восстановили.

В 24 года я была ещё нетронутой, если не считать собственных рук. И это не было гордостью, как раньше — в школе, когда девочки хвастались этим как медалью, а я молча верила, что беру верх над теми, кто «уже». К двадцати четырём гордость обернулась чем-то другим: щитом, оправданием, стеной, за которой можно было прятаться от вопроса, который я боялась задать себе сама. Я хотела, чтобы всё случилось с особенным человеком, по любви, без спешки и без грязи. И я верила, что любовь существует, — пока не усомнилась в том, что вообще способна отличить её от голода.

Мне было двадцать четыре, и я знала: по статистике я «поздняя». Средний возраст — семнадцать-девятнадцать, мне говорили об этом без стеснения, как о расписании поездов. Подруги рассказывали свои истории за вином, и каждая звучала как маленькая обязательная вещь: «Потом немного болело, но потом прошло». Я кивала, улыбалась, а внутри тихо отодвигалась от их нормальности. Их нормальность была не моей. Я не осуждала — я просто не могла в неё вписаться. Моё тело ждало чего-то, чего я сама не могла назвать, и это ожидание казалось мне то святостью, то болезнью.

Я читала, что боль при первом разе — не обязательный спутник. Что всё зависит от возбуждения, от доверия, от того, насколько тело расслаблено. Что девственная плева — не стена и не печать, а эластичная ткань, которая может растянуться, не порезавшись. Что кровь — не доказательство, а случайность. Что тампоны и спорт ничего не «ломают». Что миф о боли живёт потому, что живет миф о том, что женщина должна страдать, чтобы стать женщиной. Я читала всё это холодными глазами, как инструкцию к прибору, которым не умею пользоваться. Знание не давало мне покоя — оно лишь подчеркивало, что я знаю всё о том, чего не испытывала.

А теперь я лежала в темноте, и мой щит рассыпался на осколки.

От одного его взгляда внутри всё сжималось, и это уже не были «бабочки» — был электрический ток, который не давал дышать. Я чувствовала, как тело отвечает на его присутствие раньше, чем голова успевала решить: отвечать или нет. Кожа горела там, куда он не касался. Внизу живота ныло, тянуло, как будто что-то тяжёлое скопилось там и не находило выхода. Я хотела его так, как никогда не хотела никого: грубо, жадно, без планов на будущее, без обещаний, без завтрашнего утра.

И это пугало больше всего.

Я столько лет берегла себя для «особенного момента» — а теперь сгорала от желания к мужчине, который не вписывался ни в один мой план. «Серый волк» — так я звала его про себя, потому что он двигался бесшумно, и глаза у него были внимательные, и уверенность в нём было столько, что от него делалось не по себе. Он не торопил. Он не давил. Он просто смотрел — и от этого взгляда я почувствовала, как внутри меня что-то растворяется, тает, как воск над огнём. Мои стены — те самые, которые я строила годами, — были тоньше бумаги.

Я пыталась вернуть себе контроль: касалась себя, чтобы сбросить напряжение, чтобы хоть на минуту перестать думать о нём. Пальцы скользили по телу, которое давно знало мои руки, знало мой ритм, мои привычные дороги к разрядке. Но в этот раз тело не слушалось. Пальцы были мои, а внутри горел образ — его руки, его взгляд, его молчание. Я кончала — и это не приносило облегчения. Волна проходила, оставляя после себя не пустоту, а ещё большую жажду. Потому что дело было не в теле. Дело было в голове.

Я хотела не просто разрядки. Я хотела его. Его рук на моей коже, его дыхания на шее, его веса, его запаха, его неторопливой жестокости — всего того, о чём нельзя было рассказать, но что тело знало на каком-то древнем, человеческом уровне. Я хотела, чтобы он меня тронул — не ласково, не нежно, а так, как будто он тоже не может больше ждать. Я хотела, чтобы первый раз не был особенным. Я хотела, чтобы он был настоящим.

И это было горьче всего.

Я, которая столько лет верила, что первый раз должен быть «по любви», что боль — это плата за чистоту, что кровь — это печать посвящения, что без ритуала не будет женщины, — теперь понимала, что все эти мифы были лишь ширмой для страха. Страха перед собственным телом. Страха перед желанием. Страха перед тем, что я могу захотеть — и не суметь остановиться.

Может, я не полюбила «Серого волка». Может, я влюбилась в ощущение, что рядом с ним я становлюсь другой: не правильной, несобранной, не той, у которой всё по плану. Рядом с ним можно было не быть хорошей. Можно было быть голой — не только телом, а всем существом, — и знать, что тебя не будут за это наказывать. Может, это и есть то, что я всю жизнь называла любовью: не особенный человек, а особенное разрешение — быть настоящей.

Или, что ещё страшнее, похоть просто показала, что никакой любви и не было — только иллюзия, сотканная из его взглядов и моего одиночества. Из двадцати четырех лет ожидания. Из веры в то, что «особенный момент» существует, и из страха, что он пройдёт мимо.

Я лежала в темноте и чувствовала, как между ног пульсирует — медленно, настойчиво, как второе сердце. Тело не спорило с головой. Тело уже всё решило. Тело хотело его и не спрашивало разрешения. И я понимала, с тихим ужасом и не меньшим восторгом, что щит больше не работает — не потому, что его сломал он, а потому, что я сама больше не хотела за ним прятаться.

Я хотела, чтобы первый раз был с ним. Не особенный. Не по любви. Не по плану.

Просто с ним.

И именно это пугало больше всего.

Позже я пыталась вспомнить, в какой именно момент он стал для меня больше, чем человеком.

Не получилось.

Наверное, это происходило постепенно. Как темнеет комната вечером: ты не замечаешь, когда именно перестал видеть детали, а потом включаешь свет и понимаешь, что всё это время находился в полумраке.

Я часто думаю о первом взгляде.

Если бы тогда я знала всё, что узнаю позже, я бы всё равно посмотрела на него.

Вот что самое неприятное в воспоминаниях: они создают иллюзию, будто прошлое можно переписать знанием настоящего. Будто достаточно знать финал, чтобы изменить начало.

Нельзя.

Та женщина, которой я была тогда, не знала того, что знаю я сейчас.

Она была моложе. Наивнее. Голоднее до чувств. Ей хотелось не просто любви — ей хотелось доказательства, что она способна быть желанной настолько, чтобы кто-то нарушил ради неё собственные правила.

Это желание было почти детским.

Но взрослые женщины тоже иногда живут детскими желаниями, только умеют объяснять их красивыми словами.

Я называла это судьбой.

На самом деле мне хотелось быть исключением.

И он дал мне именно это ощущение.

Не сказал: «ты единственная».

Сделал иначе.

Оставил достаточно пространства, чтобы я сама это придумала.

Я долго считала, что манипуляция — это когда человек сознательно управляет другим. Теперь думаю, что иногда достаточно просто понимать, какую реакцию ты вызываешь, и не останавливать её.

Он видел, как я смотрю.

Я видела, что он видит.

И между этими двумя взглядами возникла связь.

Она была реальной.

Но реальность связи ещё не означает равенства.

Это различие я научилась понимать гораздо позже.

Тогда же мне казалось: если чувство настоящее, значит, оно автоматически правильно.

Сейчас я знаю, что это не так.

Настоящим может быть страх.

Настоящей может быть зависимость.

Настоящей может быть зависть.

Настоящим может быть желание разрушить то, что кажется недоступным.

Чувство не становится добром только потому, что оно сильное.

Но и плохим оно не становится.

Оно просто есть.

А дальше начинается выбор.

И именно выбор, а не чувство, делает нас теми, кем мы становимся.

Тогда я ещё не умела выбирать.

Я умела хотеть.

И это было начало всей истории.

Глава 2. Искра

I

После той смены я впервые открыла его страницу в социальных сетях. Не потому, что хотела узнать о нём больше. Я сказала себе именно так: просто любопытство. Профессиональная привычка собирать информацию. Человек, который работает с людьми, якобы всегда замечает контекст. Но это была ложь, и я знала это уже тогда.

Страница оказалась почти пустой. Несколько фотографий с кортов. Группа людей на фоне сетки. Ракетки. Море. Один снимок с детьми, где он стоял сбоку, чуть отвернувшись от камеры. И фотография, на которой он был не один. Женщина рядом улыбалась не в объектив, а ему. Я долго смотрела не на её лицо, а на его руку у неё на спине.

Странно, что именно рука стала для меня доказательством брака. Не кольцо, не подпись, не семейная фотография. Рука. Расслабленная, привычная. Так касаются человека, которого не нужно завоёвывать.

Я закрыла страницу. Через минуту открыла снова.

Тогда я ещё не понимала, что ревность начинается не с другого человека. Она начинается с воображения. Ты видишь одну деталь и достраиваешь целую жизнь, в которой тебе заранее не оставили места.

В ту ночь я долго не могла уснуть. Я лежала и думала, почему меня так зацепил человек, который практически ничего мне не сделал. Он не обещал. Не ухаживал. Не приглашал. Даже не сказал ничего особенного. Между нами был только взгляд, несколько коротких разговоров и ощущение, которое существовало исключительно внутри меня.

Это должно было меня остановить.

Но произошло обратное. Чем меньше было фактов, тем больше становилось пространства для фантазии.

Я придумала ему глубину, которой ещё не знала. Придумала одиночество за его молчанием. Силу — за сдержанностью. Опыт — за уверенностью. Я даже придумала причину, почему он смотрит именно на меня: будто заметил во мне что-то, чего не замечали другие.

На следующий день он спросил:

— Ты чего такая задумчивая?

Я пожала плечами.

— Устала.

Он посмотрел дольше обычного.

— Не похоже.

И всё.

Две фразы. Но я носила их с собой весь день, как записку, которую нельзя никому показывать.

Позже я поняла: он действительно замечал людей. Это было частью его силы. Он быстро считывал реакцию, видел, когда человек смущается, когда хочет понравиться, когда начинает ждать одобрения. Возможно, для него это было профессиональным навыком. Возможно, привычкой. Возможно, просто характером.

Но тогда я принимала его внимательность за исключительность.

И это был первый поворот, который я пропустила: он не обязательно видел меня глубже всех. Возможно, он просто умел смотреть так, чтобы человек сам начинал чувствовать себя увиденным.

Вечером мне пришло короткое сообщение.

«Завтра будешь?»

Я смотрела на экран почти минуту.

«Да.»

Я хотела добавить что-нибудь ещё. Спросить зачем. Спросить, почему он интересуется. Спросить, знает ли он, что я уже думаю о нём слишком много.

Но ничего не написала.

Он ответил почти сразу:

«Хорошо.»

И я впервые почувствовала то, что потом станет главным механизмом нашей связи: облегчение от минимального количества внимания.

Я получила крошку — и почувствовала себя накормленной.

Всё началось со взгляда.

Не со слова, не с жеста и не со случайного прикосновения — со взгляда. В тот день на корте было шумно: тренеры знакомили новичков, клиенты жались у ресепшена, я стояла за

стойкой и разбирала путаницу в расписании. Кто-то из тренеров привёл его — представил новому коллективу. Он сказал «привет», коротко кивнул, и на секунду его глаза задержались на мне. Не на моей табличке с именем, не на бейдже — на мне.

Я опустила взгляд к монитору и сделала вид, что проверяю запись. Но внутри что-то сдвинулось — тихо, как тарелка на краю стола, которую едва задели локтем.

Потом взгляды стали пересекаться. Не каждый день, не назойливо — но достаточно часто, чтобы я начала замечать. Я поднимала голову от журнала посещёний — он уже смотрел. Я выходила на корт отметить протокол — ловила его профиль, а он поворачивался. В раздевалке, в коридоре, у кулера с водой — всюду, где оказывались в одном пространстве, наши глаза встречались. И каждый раз я первая отворачивалась. Не потому что не хотела смотреть.

II

— Ты знаешь, что он женат? — спросила меня, администратор, когда мы вместе закрывали смену. Она говорила тихо, не поднимая глаз от кассового отчёта, будто спрашивала про погоду.

— Знаю, — сказала я.

— Он за многими ухаживает. За клиентками, за сотрудницами. Соблазняет. Потом остывает, и они уходят.

— Ага.

— Ты не слушаешь.

— Слушаю.

— Но тебе всё равно.

Мне было всё равно. На него — на них — на всех. Я пришла в этот клуб работать: выдавать ключи, вести расписание, судить тренировочные матчи, когда просили. Не влюбляться. Не втягиваться. Не стоять у зеркала дольше обычного, проверяя, не растрепались ли кудри.

Мне было всё равно. Я повторяла это себе каждое утро, пока завязывала шнурки на кроссовках. Каждое слово — как гвоздь в стену, на котором ничего не висит.

III

Потом случилась надобность.

Мой основной тренер заболел — или уехал, или просто перенёс занятие, я уже не помню. Помню, что нужно было отработать удар слева, а свободных тренеров не было. Только он. Серый волк — так я стала называть его про себя, через неделю после знакомства. Не потому что он был старше или опаснее. Потому что двигался по клубу тихо, крадучись, и взгляд у него был — как у зверя, который присматривается. Не нападает. Не торопится. Просто смотрит.

Я записалась к нему на тренировку. Через свой же журнал, на своём же ресепшене, вписала своё имя в его слот. Нажала «сохранить». Пальцы не дрожали. Мне ведь было всё равно.

IV

Корт. Десять утра. Он вышел с корзиной мячей, в чёрной кепке, с бутылкой воды, — и всё началось.

Сначала — шутки. Лёгкие, короткие, будто пробовал почву. Я принимала подачу, и он говорил что-то мимоходом — про мою стойку, про то, что я двигаюсь по корту как кошка, и это, оказывается, комплимент. Я фыркала. Он усмехался. Мяч шёл в аут. Я злилась. Он смеялся.

Потом — прикосновения. Не те, о которых пишут в романах. Мельчайшие, незаметные. Он поправлял мне хватку на ракетке — и пальцы задерживались на долю секунды дольше, чем нужно. Подходил сзади, чтобы развернуть плечо, — и я чувствовала тепло его руки через ткань футболки. Один раз, когда я споткнулась на сгибе к сетке, он поймал меня за локоть. Отпустил сразу. Но я ещё минуту играла с ощущением его пальцев на коже.

А потом — разговоры. Аккуратные, осторожные, как шаги по тонкому льду. Сначала про работу, про турниры, про клиентов. Потом — мимоходом — фраза, от которой я должна была покраснеть. Не краснею никогда, но в тот момент ощутила жар на щеках. Он сказал это так

складно, так естественно, будто говорил о тактичной схеме игры. Я ответила — так же спокойно, будто о погоде. Он кивнул. Улыбнулся краем рта. Бросил мяч. Продолжил тренировку.

V

После занятия я задержалась — надо было отсудить тренировочный матч между клиентами. Он остался тоже: у него была своя клиентка на соседнем корте.

Я стояла на вышке, следила за подачами, записывала очки. И каждый раз, когда поднимала голову, — ловила его взгляд. Он смотрел. Не на корт, не на свою клиентку, не на мяч — на меня. Но стоило мне встретить его глаза, как он тут же отворачивался к своей подопечной, поправлял кепку, что-то говорил ей. Доказательств не было. Он смотрел сквозь свою клиентку. Сквозь сетку. Сквозь всё, что стояло между нами. Но не сквозь меня.

Я судила и думала: может, мне кажется. Может, он так на всех смотрит. Может, это его манера — смотреть так, будто видит тебя насквозь. Может.

Но я не верила в «может».

VI

Тренировка закончилась. Судейство закончилось. Клиенты разъехались. Клуб пустел — гас свет на дальних кортах, закрывались раздевалки, администратор вечерней смены уже сидела за стойкой и ждала, когда я освобожу журнал.

Я переоделась — натянула платье, которое лежало в шкафчике, потому что после клуба собиралась в город. Собрала сумку. Вышла на парковку.

Он стоял у машины.

— Подвести?

Я смотрела на него и думала. Думала быстро, за две секунды, хотя секунд должно было хватить на «нет, спасибо, я на автобус». Он женат. За многими ухаживает. Соблазняет. Мне всё равно. Мне всё равно. Мне —

— Ладно, — сказала я. — С опаской, но согласилась.

Мы выехали с парковки клуба, проехали через ворота, свернули на дорогу. Он не включил музыку. Не говорил. Просто вёл машину и иногда поглядывал в зеркало заднего вида — или на меня, я не понимала.

Он подвёз до остановки, которая мне была удобна — я сказала, куда, и он кивнул, будто знал дорогу лучше меня. Машина остановилась. Я потянулась к ручке двери.

— Красивое платье, — сказал он.

Не «ты красивая». Не «ты мне нравишься». Просто — «красивое платье». Три слова, ни одного лишнего. Я вышла из машины, и дверь закрылась за мной, а я стояла на остановке и пыталась понять: это комплимент платью или мне. И почему от трёх слов у меня дрожат колени.

VII

С тех пор мы стали тренироваться вместе.

Не каждый день, не по расписанию — когда совпадали смены, когда его корт был свободен, когда мой основной тренер снова уезжал, а я записывалась к нему, будто так и должно было быть. Он ставил мне удары, гонял по диагонали, учил подаче сверху — и ни разу не взял тренерские. Я спрашивала, сколько с меня. Он отмахивался.

— Мы же коллеги, — говорил он. - Потом решу что с тебя взять.

И каждый раз называл другую цифру — то ноль, то «ну, сколько дашь», то вообще уходил от вопроса. Прятал, сколько возьмёт на самом деле. Может, потому что не хотел, чтобы я чувствовала себя должной. Может, потому что тренировка была предлогом. Для обоих.

VIII

В один день — помню, это было после утренней тренировки, солнце ещё стояло низко и било через лобовое стекло — мы проезжали мимо парка. Он не довёз меня до остановки. Свернул, припарковался у аллеи, заглушил двигатель.

— Прогуляемся?

Я посмотрела на него с удивлением. Он не объяснил. Просто открыл дверь и вышел. Я подождала три секунды. Тоже вышла.

На улице было тепло. Ранняя осень, но солнце ещё грело по-летнему, и только листья — жёлтые, золотые, медные — выдавали время года. Они лежали на дорожках ровным слоем, и мы шли по ним, и они шуршали под ногами, и звук был такой, будто кто-то шуршит обёрткой в кинотеатре.

Он расспрашивал. Сначала про работу — давно ли я в клубе, нравится ли, чем занималась раньше. Потом — дальше. Про семью, про детство, про город. Я отвечала. Спокойно, просто, будто говорила с собой. Он умел спрашивать так, что слова не застревали.

А потом — про интимные вещи. Не грубо, не напористо. Так складно, так мягко, что я отвечала, не успевая испугаться. Вопросы, на которые я не ответила бы никому, — ему я отвечала. Как будто он знал, куда повернуть разговор, чтобы я сама открыла дверь. Не выломал замок, не выбил раму — просто постучал, и я впустила.

IX

Мы сели на скамейку. Старую, деревянную, с отставшей краской. Листья лежали на ней, как нарисованные. Солнце пробивалось сквозь кроны и ложилось пятнами на его руки, на мои колени, на асфальт перед нами.

Он обнял меня. Не резко, не порывисто — медленно. Словно проверял: можно ли. Его рука легла мне на плечо, и я ощутила тепло — не от ладони, а от чего-то внутри, от чего-то, чему я не знала названия. Я расслабилась. Дала ему прикоснуться к плечам. Потом — к моим кудрям. Его пальцы скользнули по волосам, мягко, не цепляя, и я закрыла глаза.

— А прошлые отношения? — спросил он.

Голос — близко, над ухом. Я открыла глаза.

— У меня никого не было, — сказала я.

Тишина. Я ждала смеха, или неловкой паузы, или вопроса «как — вообще?». Ждала, что он отодвинется, сменит тему, посмотрит иначе.

Он не отодвинулся. Не засмеялся. Не сменил тему. Просто помолчал — секунду, две, три — и кивнул. Едва заметно, как будто принял к сведению что-то важное.

Потом повернулся и посмотрел на меня. Долго. Внимательно. И я увидела это снова — тот взгляд из самого первого дня. Звериный. Он был как зверь, который смотрел на добычу. Не голодный, не злой — просто смотрел. Оценивал расстояние. Высчитывал время. Ждал.

— У тебя есть ко мне симпатия? — спросил он.

Просто. Как спросил бы, какой у меня рейтинг. Или какой хват на ракетке. Будто ответ не имел значения. Будто он уже знал.

И я должна была сказать. Искра есть. Три слова. Я подобрала их заранее, ещё когда шла по аллее, ещё когда слушала его вопросы. Искра есть. Всё просто. Но рот не открылся. Слова стояли в горле, как пробка в бутылке, — видно, но не достанешь.

Я молчала. Он ждал. Потом кивнул — тому же, чему кивнул после «никого не было». Будто мой ответ и моё молчание значили одно и то же.

X

У меня вечером была встреча с подругами. Недалеко от клуба, в центре города — кафе, шум, вино, разговоры о работе, о мужчинах, о том, кто кому что написал. Я собиралась ещё на ресепшене, переодеваясь в туалетной комнате администратора: платье, тушь, капля духов.

Он подошёл, когда я уже застёгивала сумку.

— Провести после?

— После — это двадцать два ноль-ноль, — сказала я.

— Я знаю, который час.

Я согласилась. Не сразу. Сначала сказала «не надо», потом «ну ладно», потом просто кивнула. Три отказа, три ступеньки вниз, и последняя — в тишину, где уже нечего было прятать.

XI

Он приехал в двадцать два тридцать. Я вышла из кафе, и тёплый вечерний воздух ударил в лицо — вино и смех подруг ещё стояли во мне, расслабленные, лёгкие. Он стоял у машины, руки в карманах, кепка сдвинута назад.

Поездка была весёлой. Он шутил — по-настоящему, не как на корте, не осторожно, а свободно. Рассказывал про клиента, который три раза подряд подавал в сетку и попросил заменить сетку. Про кошку, которая пробралась на корт и спала на бэклайн. Я смеялась — громко, не сдерживаясь, как не смеялась давно.

Он включил музыку. Что-то тихое, незнакомое. Мы ехали по пустому ночному городу, и фонари мелькали за окном, и я смотрела на его руки на руле и думала: вот оно. Вот то, чего я боялась. Не страха, не боли, не разочарования — а этого. Этого тепла рядом, этого смеха, этого ощущения, что кто-то рядом — и не просто рядом, а ближе, чем все.

Мы сблизились. Не физически — между нами на сиденье было полметра. Но что-то сократилось. Какое-то расстояние, которое я держала месяцами, — исчезло за двадцать минут ночной поездки.

И я поняла: искра есть. Настоящая, сильная, от которой не отмахнешься и не спрячешь. Которая уже не тлела, а горела.

XII

Я лежала в кровати, смотрела в телефон и писала. Одно слово. Потом ещё. Стирала. Писала заново. Сердце колотилось, пальцы дрожали, автозамена подсказывала «искра», но я торопилась и нажала «отправить» раньше, чем проверила.

«иска есть»

Опечатка. Два слова, одно с ошибкой. Я смотрела на экран и ждала. Три минуты. Пять. Семь. Потом — мигнуло.

Он: «Не пиши мне такое»

И скобку. Одну скобку. Смайл-усмешку, текстовую ухмылку — :). Не «смайл», не «грустный», не «сердце». Скобку. Как аванс. Как приоткрытую дверь, в которую стучат снаружи и не говорят «заходи», но и не запирают замок.

Я перечитала пять раз. «Не пиши мне такое» — это запрет или просьба? «Но он понял» — он сам написал или я додумала? Скобка — это «я тоже» или «забудь»?

Я не знала. Я положила телефон экраном вниз и стала ждать четверга.

В тот вечер я впервые увидела, как он разговаривает с человеком, которого уважает.

Это было почти незаметно. Никакой демонстративной вежливости, никаких комплиментов. Просто он слушал. Не перебивал. Не проверял телефон. Не пытался направить разговор в свою сторону.

Я стояла в нескольких метрах и смотрела.

Он был другим.

И это неожиданно меня задело.

До этого мне казалось, что его холодность — часть его характера. Что он вообще такой: собранный, экономный на словах, немного закрытый.

Но теперь я увидела: он умеет быть внимательным.

Значит, дело не в неспособности.

Он выбирал, когда быть внимательным.

Эта мысль должна была отрезвить меня.

Вместо этого она усилила влечение.

Мне захотелось стать той, ради кого он тоже станет другим.

Вот так рождается одна из самых опасных фантазий: «со мной он будет не таким».

Я начала искать доказательства.

Когда он смеялся со мной — записывала это в память как особенный знак.

Когда рассказывал что-то личное — считала доверием.

Когда ревновал — любовью.

Когда исчезал — обстоятельствами.

Каждое событие проходило через фильтр желания.

Я уже не воспринимала реальность.

Я интерпретировала её.

И интерпретация всегда была в его пользу.

Через несколько дней он рассказал мне одну вещь о себе. Небольшую, почти бытовую. О том, что в детстве его учили не жаловаться и никогда не показывать слабость.

Я слушала и вдруг почувствовала нежность.

Мне захотелось стать человеком, рядом с которым ему не нужно быть сильным.

Это было красивое желание.

И совершенно эгоистичное.

Потому что я уже незаметно поставила себя в роль спасителя.

Мне хотелось не только быть любимой им.

Мне хотелось быть необходимой.

Разница огромная.

Любовь говорит: «я хочу быть рядом».

Зависимость шепчет: «без меня ты не справишься».

Я тогда этого не слышала.

Я слышала только его голос.

И когда он сказал:

— Ты слишком много думаешь.

Я улыбнулась.

— А ты слишком мало говоришь.

Он рассмеялся.

— Поэтому и ладим.

Я запомнила эту фразу на годы.

Сейчас она кажется мне почти безобидной.

Но тогда в ней было обещание.

Мы.

Он произнёс «ладим», и я услышала «подходим».

Он сказал про разговор.

Я услышала про судьбу.

В этом и была моя главная ошибка: я постоянно увеличивала его слова до размеров собственной надежды.

Глава 3. Четверг

I

В тот четверг я заметила одну вещь, которая тогда показалась мне незначительной.

Он посмотрел на часы перед тем, как позвонить.

Я увидела это случайно. Мы сидели в машине, и его телефон лежал между нами. Экран загорелся, он взглянул на время, потом на меня. На секунду в его лице появилось что-то похожее на раздражение. Не на меня. На время.

— Всё хорошо? — спросила я.

— Да.

Он убрал телефон.

Через несколько минут снова посмотрел на часы.

Тогда я не придала этому значения. Мне хотелось думать, что наша встреча существует вне времени. Что для него эти часы тоже вырваны из жизни, что он так же, как я, перестаёт понимать, где заканчивается обычный вечер и начинается что-то наше.

Но время для него не исчезало. Он всё время его считал.

Это стало ясно позже.

В ту ночь, когда я вернулась домой, бабушка сидела на кухне. Телевизор работал без звука.

— Поздно, — сказала она.

— Знаю.

Она посмотрела на меня внимательнее.

— Ты счастливая?

Я замерла.

Не «где была?». Не «с кем?». Не «почему поздно?». Именно это.

Я хотела ответить «да». Очень хотела. Потому что тогда всё происходящее получало бы смысл. Если я счастлива, значит, я не ошиблась. Если счастлива — значит, можно простить себе всё остальное.

Но слово не вышло.

— Не знаю, — сказала я.

Бабушка кивнула так, будто услышала именно то, чего ожидала.

— Тогда не торопись называть это любовью.

Я рассмеялась.

— А что тогда?

Она выключила телевизор.

— Сначала пойми, что ты рядом с человеком чувствуешь. Потом решишь, как это назвать.

Я не знала, что через несколько месяцев эта простая фраза будет звучать во мне громче любого его голоса.

В ту ночь я открыла заметки в телефоне и написала: «Что я чувствую рядом с ним?»

Ответ появился сразу.

«Живой.»

Я посмотрела на слово и добавила:

«Желанной.»

Потом:

«Особенной.»

И ещё:

«Свободной.»

Последнее слово я перечитала несколько раз.

Свободной.

Это было почти смешно. Я уже начинала зависеть от его звонков, а называла это свободой.

Тогда я впервые поймала себя на мысли: возможно, я влюбляюсь не в человека, а в версию себя рядом с ним.

И это было страшнее.

Потому что от человека можно уйти. А от себя — нет.

Утром я открыла заметки снова. Под четырьмя словами добавилось ещё одно, написанное ночью:

«Не потерять.»

Я не помнила, когда именно его написала.

Но именно оно оказалось самым честным.

Четверг начинался как обычный осенний день. Серое небо, мелкий дождь, который не решается стать настоящим, и Питер, который пах мокрой листвой и усталостью. Я проснулась, умылась, оделась. Ракетка в чехле, кроссовки в сумке, план на день: свидание, тренировка после обеда, вечерняя смена. Всё по расписанию. Всё по плану. Всё как всегда.

Свидание было до тренировки. Парень, с которым я гуляла, не стоил того, чтобы запоминать его имя. Мелкий, суетливый, с руками, которые не знали, куда деться. Он купил мне белую розу. Не гвоздику, не тюльпан, розу. Белую. Чистую, как платье невесты, как лист бумаги, на котором ничего не написано. Я взяла. Потому что не взять было неловко. Потому что роза была красивая, и от неё пахло, и на мгновение, когда я поднесла её к лицу, я почувствовала себя той, которой дарят цветы. Не функцией. Не телом. Женщиной, которой дарят цветы.

Мы прошли по набережной. Он говорил. Я кивала. Не слышала. Думала о другом. О тренировке, которая будет через час, о корте, о сетке, о мячах. О нём. О том, что через час я буду стоять на корте, и он будет подавать, и его голос будет говорить «локоть выше», и я буду бить, и мяч будет лететь, и между нами будет сетка, и сетка будет то стеной, то окном, и я не знала, чем она будет сегодня.

Белая роза лежала в моей сумке, рядом с полотенцем и водой. Чистая, красивая, ненужная. Как обещание, которое никто не просил.

II

Тренировка прошла как тренировка. Подача, кроссы, удары слева, справа. Он был тренером, собранным, профессиональным, далёким. Подавал мячи, поправлял, говорил «хорошо», «ещё раз», «ракетку опусти». Не касался. Не смотрел тем взглядом. Был на своей стороне сетки, я на своей. Между нами расстояние в метр, которое было то рекой, то сухой дорогой, и я не знала, по которой можно перейти.

После тренировки я собирала вещи. Ракетку в чехол, полотенце в сумку, белую розу, которая примялась и стала не такая красивая, но всё ещё пахла. Он стоял у машины, ждал. Дверь была открыта.

Подвезёшь? спросила я, и он кивнул. Коротко, как кивал всегда, как кивал на всё, что было между нами: не да, не нет, а то, что между, то, что не называлось и не определялось.

Я села. Сумка с розой легла на заднеё сиденье. Его машина пахла кожей и им, тем запахом, который я узнавала за метр, который въедался в мою кожу после тренировок, который я находила на подушке по утрам, хотя он никогда не был у меня дома. Дорога мокрая, фонари уже горели, осенний вечер темнел рано, и Питер становился тем, чем становился каждый октябрь: серым, жёлтым, тихим, с листьями, которые кружились под колёсами.

Он вёл машину молча. Я смотрела в окно и думала о розе в сумке, о парне, имя которого не стоило памяти, о работе, которая ждала, о том, что вечер будет длинный, и я буду стоять за стойкой, и улыбаться, и говорить «спасибо», и быть правильной, собранной, той, у которой всё по плану.

И тут он сказал.

Не резко, не с напором, не с тем голосом, от которого внутри всё сжимается. Спокойно. Ровно. Как говорил всё: «локоть выше», «перестань думать», «хорошо». Сказал:

— Может, найдём место поблизости. Подождём до работы.

Не «поедем куда-то». Не «мне нужно тебя увидеть». «Найдём место поблизости. Подождём.» Просто. Естественно. Как предложение остановиться и подождать. Как если бы время между тренировкой и работой было пустым, и его нужно было заполнить, и заполнить можно было чем угодно, и он предлагал заполнить его вместе.

Не было прямых намёков. Не было «я тебя хочу». Не было взгляда, от которого плавятся колени. Не было ничего, что я могла бы назвать опасным. Было его голос, ровный, спокойный, и его руки на руле, уверенные, с мозолями от ракетки, и дорога, мокрая, и фонари, и вечер, и его предложение, которое звучало как «подождём», а значило всё, что должно было случиться,

и я это знала, или не знала, или знала и не признавала, и от этого незнания внутри стало горячо и тревожно, как перед прыжком, когда стоишь на краю и не смотришь вниз.

— Давай, — сказала я.

Два слова от него. Два от меня. Как переговоры, как торг, как разговор двух людей, которые оба знают, куда едут, и оба делают вид, что не знают.

III

Он припарковался недалеко от моей работы. Не у входа, не на стоянке, а чуть в стороне, на небольшом участке под деревьями, где асфальт переходил в землю, где фонари не доставали, где тени ложились на капот, как одеяло. Октябрьские листья лежали повсюду. Золотые, мокрые, прилипшие к стеклу, к асфальту, к ботинкам. Золотой ковёр, который никто не подметал, который лежал, как лежат листья, когда осень делает своё дело: красиво, без спроса, без плана.

Он заглушил мотор. Тишина. И в этой тишине, в машине, под деревьями, на золотых листьях, его голос стал другим. Не громче, не мягче. Другим. Тем, от которого внутри всё собирается в тугую точку.

— Идём назад, — сказал он.

Мы пересели на заднеё сиденье. Не спеша, не суетливо, как люди, которые пересаживаются из-за того, что впереди неудобно, а сзади просторнее. Я села. Он рядом. И между нами расстояние в ладонь, которое было то стеной, то окном, то тем, сквозь что проходят, как через воду, не разрушая, а раздвигая.

Он продвинулся ко мне. Медленно, не давя, не наваливаясь. С улыбкой. С той односторонней усмешкой, которую я видела на корте, когда он был доволен, когда мяч ложился точно, когда подача шла в квадрат. Улыбкой, которая была не радостью, а знанием. Знанием, что будет. Знанием, что я никуда не денусь. Знанием, которое было не высокомерием, а уверенностью, и от этой уверенности внутри меня всё таяло, как воск над огнём.

И взгляд. Дикий. Не злой, не жестокий. Дикий, как бывает диким у животного, которое видит то, что хочет, и не прячет голод, и не извиняется за него. Его глаза, голубые, глубокие, как вода в колодце, смотрели на меня, и в них был голод, и терпение, и то, чего я не могла прочитать, что жило между «хочу» и «жду», между «беру» и «прошу».

Я замерла. Не от страха. От неуверенности. Я не знала, что делать. Не знала, как. Мой опыт был нулём, пустотой, белым листом, на котором ничего не написано. Я сидела на заднем сиденье, рядом с мужчиной, который смотрел на меня диким взглядом, и не знала, куда деть руки, куда смотреть, что сказать. Двадцать четыре года я берегла себя для «особенного момента», и вот момент был, и я не знала, что с ним делать.

Он молчал. Ждал. Не давил, не торопил, не приближался. Сидел рядом, с улыбкой, с взглядом, и ждал. И от этого ожидания, от его терпения, от того, что он не брал, а давал мне время, внутри меня что-то сдвинулось. Не сломалось, не треснуло. Сдвинулось, как сдвигается мебель, когда убираешь комнату: всё было на местах, но стало другим.

— Что ты хочешь? — спросил он.

Вопрос. Простой, прямой, как подача, которая ложится в квадрат. Не «можно?» Не «ты не против?» «Что ты хочешь?» Вопрос, который отдавал мне всё. Контроль. Выбор. Решение. Он спрашивал, и от этого вопроса, от того, что он не решил за меня, а дал мне решить, внутри стало тихо. Не пусто. Тихо. Как бывает тихо, когда ветер стихает, и ты слышишь биение собственного сердца.

Я посмотрела на него. На его глаза, тёмные, дикие, терпеливые. На его губы, которые улыбались одной стороной. На его руки, которые лежали на коленях, не тянулись, не хватали, а просто лежали, тёплые, с мозолями, знакомые по корту, по тренировкам.

И сказала.

— Поцелуй меня.

Три слова. Не «можешь», не «если хочешь», не «я не знаю». «Поцелуй меня.» Просьба. Приказ. Разрешение. То, что я берегла двадцать четыре года, не для особенного момента, а для этого. Для того, чтобы сказать «поцелуй меня» мужчине, которому хотела это сказать, и сказать первой, и не стыдиться, и не бояться, и знать, что он услышит.

IV

Он поцеловал.

Не жадно, не торопливо. Медленно, как у человека, у которого есть время на каждый миллиметр. Его губы коснулись моих, только коснулись, легко, как вопрос, и я ответила. Неуверенно, не зная как.

Его губы были тёплые, сухие, чуть шершавые, и он целовал так, будто учился читать по моему рту, и я училась вместе с ним, и это было похоже на разговор, в котором нет слов, но есть смысл, и смысл понятнеё слов.

Его рука легла мне на затылок. Пальцы скользнули в волосы, мягко, без нажима, и я закрыла глаза. Не по привычке, а потому что хотела, чтобы этот мир остался только тактильным, только тёплым, только его. Его язык коснулся моего, легко, невесомо, и внутри меня что-то оборвалось. Не больно, не резко. Как нить, которая держалась долго и наконец устала. Я выдохнула ему в рот, и этот выдох был длиннее, чем любой, что я делала при жизни.

Его губы двинулись вниз. По подбородку, по шее, по ключице. Медленно, с остановками, как человек, который идёт по незнакомой дороге и запоминает каждый поворот. Его руки легли мне на колени, скользнули вверх, по бёдрам, по краю шорт, и я раздвинула ноги. Не раздумывая. Не решая. Тело решило раньше, чем голова успела спросить, и от этого, от того, что тело решило, а голова отстала, как всегда, как в сказке, где девочка идёт за волком в лес и знает, что идёт, и всё равно идёт.

Он опустился. Не торопясь, не рывком. Мягко, как ложится на колени человек, который знает, что будет, и хочет, и не торопится, потому что процесс важнеё результата. Его голова оказалась между моих ног. Я смотрела сверху вниз и видела его плечи, в полумраке машины, и свои бёдра, белые, тонкие, и его рот, который приближался.

Его губы коснулись меня.

И это было не так, как в моих снах.

В снах было красиво, плавно, как в кино, с музыкой, с замедленной съёмкой, с мягким светом. В снах я не плакала от ощущений, не сжимала кулаки, не забывала, как дышать. В снах всё было аккуратно, стерильно, безопасно. А сейчас было ничего из этого.

Было лучше.

Его язык был тёплый, мягкий, живой. Не как мои пальцы, привычные и точные. Чужой. Другой. Он двигался медленно, не как я, не зная, как, а как исследователь, который идёт по незнакомой земле, и от этого незнакомого, от этого чужого, от того, что он делал то, чего я не делала с собой, и делал по-своему, стало так много, что я не знала, куда деть. Слишком много. Слишком близко. Слишком хорошо.

Я стонала. Не тихо, не сдержанно. Громко, с открытым ртом, и мне было всё равно, кто услышит. Его руки держали мои бёдра, крепко, и я не могла сдвинуться, не могла отодвинуться, могла только принимать, и это было страшно и сладко, как ничто в моей жизни.

Он был не тороплив. Двигался медленно, круговыми движениями, и от каждого круга внутри собиралось что-то, что не было ни болью, ни удовольствием, а чем-то третьим, чему нет названия. Чем-то, что росло, и концентрировалось, и становилось всё плотнее, и я знала, что это, и боялась, и хотела, и не могла остановиться.

Оргазм пришёл как судорога. Резкая, тугая, выкручивающая, и я закричала, и он застонал в ответ, не отрываясь, и от вибрации его голоса на моей коже стало ещё сильнее, и я кончила долго, в нескольких толчках, и каждый был остреё предыдущего.

Потом я лежала на заднем сиденье, с открытым ртом, с закрытыми глазами, и слушала, как выравнивается дыхание. Золотые листья за окном. Тишина. Его дыхание, ровное, спокойное, как после разминки.

V

Я села ему на колени.

Не потому что хотела, а потому что тело хотело. Тело, которое после оргазма стало мягким, податливым, как тесто, которое не сопротивляется рукам. Я села, обхватила его шею руками, и поцеловала. Жадно, глубоко, как будто за этот поцелуй можно было удержать то, что только что было, не дать ему уйти, не дать раствориться.

Он ответил. Его руки легли мне на талию, сжали, притянули, и я чувствовала его, твёрдого, напряжённого, через ткань. Он ждал. Ждал того же. Ждал, что я опущусь вниз, что я сделаю то, что он сделал для меня. Ждал обратного ответа, того, что естественно, когда один даёт, и другой отдаёт.

Я хотела. Хотела, и боялась, и не знала как, и от этого незнания внутри поднялась паника, тонкая, холодная, как сквозняк. Я не умела. Никогда. Двадцать четыре года берегла себя для «особенного момента», и момент был, и я не знала, что в нём делать, кроме как принимать, и отдавать не умела, и от этого, от того, что не умела, а он ждал, стало стыдно.

И тут я посмотрела на часы. На панели, на его Haval, светилось время. 17:40. Работа в 18:00. Двадцать минут. Двадцать минут на дорогу, на переодевание, на то, чтобы стать той, которой я была на работе: правильной, собранной, улыбающейся. Не той, которая сидела на коленях у мужчины и не знала, что делать с его желанием.

— Мне пора, — сказала я. И в этом «мне пора» было всё: и правда, и ложь, и страх, и спасение. Правда, потому что работа. Ложь, потому что можно было опоздать, можно было позвонить, можно было сказать «не приду». Страх, потому что я не умела и не хотела признаться. Спасение, потому что «мне пора» было дверью, через которую можно было выйти, не потеряв лица.

Он посмотрел на меня. Долго. Тем взглядом, в котором голод и терпение жили одновременно. Не обиделся. Не разозлился. Кивнул. Коротко. Как кивал всегда.

— Давай, — сказал он. И поцеловал меня. Коротко, в губы, как печать. — Я довезу.

Я слезла с его колен. Поправила шорты, поправила волосы, взяла сумку. Белая роза, примятая, с двумя листьями, лежала на полу. Я подняла. Взяла. Он не видел, или видел и не сказал.

Он довёз меня до работы. Я вышла. Закрыла дверь. Обернулась. Его силуэт в тёмной машине, неподвижный, терпеливый. Я подняла розу к лицу, вдохнула. Пахла. Ещё пахла. Но запах был слабее, чем час назад, когда парень подарил её мне на набережной. Роза умирала. Как всё, что не было его.

VI

Вечером, в тот же день, он приехал за мной.

В 21:00. Не написал, не позвонил. Просто приехал и ждал. Тёмный Haval у подъезда, с погашенными фарами, как всегда, как в первый раз, как в каждый раз. Я увидела из окна, и сердце ударило, как мяч, и я поняла: тело помнит. Помнит его руки на бёдрах, его рот между ног, его «что ты хочешь», и моё «поцелуй меня». Тело помнило всё, и тело хотело ещё, и тело не спрашивало разрешения.

Бабушка из кухни:

— Куда ты? Уже девять!

— К подруге. На пять минут. Вернусь скоро.

Лгать я научилась. Не хорошо, но быстро. Плохая ложь та, в которой верят. Хорошая та, в которой не нужно, потому что спрашивающий не проверяет. Бабушка не проверяла. Бабушка доверяла. И от этого доверия, от того, что я лгала человеку, который мне верил, стало стыдно,

но стыд был фоновым, как шум, как сквозняк, как всё, что было с ним. Стыд жил, и я жила со стыдом, и он не мешал мне спускаться по лестнице и бежать к тёмной машине.

Я побежала. Не шла спокойно, не прогуливалась. Бежала. В кедах, без куртки, с мокрыми волосами, потому что вышла прямиком из душа, в домашних серых штанах и футболке. Бежала к нему. Как бегут к тому, кого хотят. Как бегут к тому, без кого не могут.

Села в машину. Он не поздоровался. Не здоровался никогда, как будто приветствие было лишним звуком. Просто посмотрел. Тем взглядом. И от этого взгляда, от того, что он смотрел так, как будто не было пяти часов разлуки, как будто не было работы, как будто не было времени, стало ясно: он ждал. Ждал вечера. Ждал, когда я закончу работу, и приедет, и заберёт, и отвезёт туда, где были бы одни.

Он вывел машину из двора. Не в сторону центра, не в сторону работы, не в сторону какого-то далёкого места. В сторону парка. Того самого, который начинался за моим домом, через дорогу, через пустырь, через старую аллею с берёзами, которые были высокими, толстыми, с чёрными пятнами на стволах. Парк, который был моим, который я знала с детства, по которому гуляла с бабушкой, в котором каталась на качелях. Парк, который теперь станет другим.

Он заглушил мотор в глубине аллеи. Темно. Тихо. Фонари далеко, свет не доставал. Только луна, тонкая, как серп, и золотые листья, которые лежали повсюду, на капоте, на крыше, на земле, и от них пахло осенью, сыростью, чем-то сладким и горьким одновременно, как всё, что было с ним.

Он повернулся ко мне. Не сказал «идём назад». Не сказал ничего. Просто смотрел. И я поняла. Без слов, без подсказок, без «что ты хочешь». Поняла, что он хочет. Поняла, что я хочу. Поняла, что это будет, и от этого понимания внутри стало горячо и тихо, как бывает тихо перед тем, как что-то начнётся.

Мы перешли на заднеё сиденье. В этот раз быстрее, не с той спокойной неторопливостью, как днём, в парке на золотых листьях. Быстрее, потому что ночь, потому что бабушка ждёт, потому что время, и от этой спешки всё стало острее, ярче, ближе.

Он сел. Я рядом с ним. Между его коленями. На уровне его пояса. И смотрела снизу вверх, и он сверху вниз, и от этого ракурса, от того, что я была ниже, а он выше, и его глаза смотрели на меня из темноты, диким, голодным, терпеливым взглядом, стало ясно: сейчас.

Сейчас я сделаю то, чего никогда не делала. То, чего боялась. То, от чего внутри поднимался страх и желание одновременно, как две волны, которые бегут навстречу и сталкиваются, и от столкновения поднимается всплеск, который больше обеих.

Мои пальцы нашли ремень. Пряжка холодная, металлическая, поддалась не сразу. Я возилась, и руки дрожали, и это было унизительно и сладко. Унизительно, потому что я не умела, никогда не делала, и он это знал. Сладко, потому что он не помогал, не торопил, не направлял мои руки. Ждал. Ждал, как ждал всегда, с тем терпением, которое было не пассивностью, а уважением. Уважением к моему темпу, к моей неуверенности, к тому, что я делаю это впервые, и впервые нужно сделать самому.

Молния. Ткань. Под ней горячая, твёрдая плоть. Я впервые держала в руках не своё, а чужое возбуждение. Тяжёлое, живое, пульсирующее. И от этого ощущения, от того, что кто-то живой, тёплый, напряжённый у меня в ладони, меня бросило в жар, который начался где-то в животе и поднялся к груди, к шее, к щекам.

Я наклонилась. Прижалась губами. Не взяла в рот, а поцеловала, как в первый раз целуют. Почувствовала его запах, мужской, резкий, не похожий ни на что из моего опыта. Вкус солёный, тёплый, живой. Провела губами по всей длине, медленно, не зная как, делая всё наугад, по наитию, по тому знанию, которое живёт в теле глубже любого воспитания.

Он застонал. Тихо, коротко, сжав мои бедра сильнее. И от этого звука, от того, что я делаю это с ним, что ему хорошо, что я причина, внутри меня вспыхнуло что-то новое. Не желание, не

похоть. Сила. Я, которая двадцать четыре года была хорошей девочкой, которая берегла себя, которая боялась, сейчас стояла на коленях в парке, в темноте, на заднем сиденье его машины, и впервые в жизни чувствовала себя не слабой, а сильной. Потому что он, сильный, молчаливый, терпеливый, сейчас дрожал от моих губ.

Я взяла его в рот. Не до конца, сколько смогла, сколько позволил страх. Мои губы обхватили головку, и я медленно двинулась вниз, и он застонал снова, и его пальцы скользнули мне в волосы, и он не давил, не толкался, просто держал, и от этого, от того, что он держал, но не давил, я поняла: он даёт мне контроль. Даёт тому, кто никогда его не имел.

Я двигалась медленно, неуверенно, спотыкаясь, останавливаясь, когда челюсть уставала или когда страх накатывал. Он не торопил. Не направлял. Только дышал, тяжело, рвано, и от этого дыхания я знала: правильно. Я делала правильно. Неумело, но правильно.

Его рука сжала мои волосы, и я поняла, что он близко. Его бёдра дрогнули, и он сказал, хрипло:

— Я...

Я не отстранилась. Инстинкт говорил отодвинуться, воспитание кричало не глотай, стыд шептал ты же хорошая девочка. Но я не отстранилась. Потому что тело решило раньше головы, и тело хотело всё. Его. До конца.

Он кончил. Толчками, горячими, солёными. Я глотала, и давилась, и не давилась, и это было странно и не странно, как будто я делала это всегда, как будто моё тело знало, а голова только догнала.

Потом я сидела перед ним. На коленях, на заднем сиденье, в темноте, в парке, через дорогу от дома, где бабушка смотрела телевизор и ждала.

Он смотрел на меня. Долго. Молча. Потом наклонился, взял моё лицо в ладони, обеими, бережно, как берут что-то хрупкое, и поцеловал. В лоб. Не в губы. В лоб. Туда, где живут мысли. Туда, где живёт страх. Туда, где я прятала свою хорошую девочку.

— Ты не хорошая, — сказал он тихо.

— Я знаю, — сказала я.

— Ты настоящая.

Я не ответила. Потому что если бы открыла рот, из него вышло бы не слово, а что-то, чему нет названия. Не слёзы, не смех, не стон. Всё сразу. И всё больше. И всё громче. И всё невозможно.

Мы сидели на заднем сиденье, в парке, на золотых листьях, в темноте, и молчали, и молчание было полнеё любого разговора.

Глава 4. Четыре дня

Четыре дня я считала как приговорённая — не до казни, а до помилования. Или наоборот. Турция, теннисный лагерь, две недели на кортах под солнцем, которое в Питере в сентябре уже не греет, а только светит — холодно, официально, как нотариус. Две недели без него. Без его взгляда, без его рук, без его голоса, который говорил «иди сюда» — и я шла.

Перед отъездом случилось то, о чём я никому не рассказала.

Я увидела его жену.

Не специально. Я вообще не знала, что она может прийти в клуб. Она вошла через стеклянные двери ближе к вечеру, пока я стояла за стойкой. Спокойная, собранная, с бумажным стаканчиком кофе в руке. Она спросила, где тренер.

Я сразу поняла, кто она.

Не потому, что узнала лицо с фотографии. Вживую человек всегда другой. Я поняла по тому, как она произнесла его профессию, будто это была не должность, а часть давно привычной жизни.

— Он на корте, — сказала я.

Она улыбнулась.

— Спасибо.

И пошла дальше.

Всего несколько секунд.

Но за эти секунды моя фантазия разрушилась.

До этого она была для меня образом. Женщина из фотографии. Фигура, стоящая между мной и ним. Чужая жизнь, которая раздражала одним фактом своего существования.

А теперь это был живой человек.

Она поправила волосы. Посмотрела на часы. Спросила у кого-то про расписание. У неё дрогнула рука, когда она ставила стакан на стойку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.